



Лариса Алексеева
Цвет винограда

О Юлии Оболенской и Константине Кандаурове

Отвес радости. Волошин

«Как Вы верно сказали об радости: «Она труднее всех вещей и во всех вещах скрыта». Я всегда думал, что мы в мире во все не для того, чтобы путать и портить, под предлогом исправления сущего, а для того, чтобы *понять*».

М. А. Волошин — Ю. Л. Оболенской
21 октября 1913

«Я не учу — я пробуждаю». Слова мастера Януса из трагедии Вилье де Лиль-Адана «Аксель», о которой Волошин писал в статье «Апофеоз мечты», могли бы служить девизом отношений, которые возникают не сразу, не вдруг, а прежде будто требуют усилия — вглядывания, вслушивания — в себя ли, в другого... Некоторой паузы перед неизбежным встречным движением.

Переписка Оболенской с Волошиным насчитывает более полутора сотен писем (1913—1930), основной массив которых находится в ИРЛИ (Пушкинском доме). Письма поэта за 1913—1917 годы недавно опубликованы в десятом томе собрания его сочинений и готовятся к изданию остальные¹.

© Larisa Alekseeva, 2012

© TSQ 41. Summer 2012 (<http://www.utoronto.ca/tsq/>)

Продолжение. Начало см.: TSQ 29, 32 и 35.

¹ Максимилиан Волошин. Собрание сочинений. Т. 10. Под общей редакцией В. П. Купченко и А. В. Лаврова при участии Р. П. Хрулевой. М.,

Но, чтобы имя Оболенской не затерялось в тени Волошина, оставшись в примечаниях, попробуем здесь хотя бы избирательно представить их переписку как равнозначный диалог.

«По вечерам подолгу беседую с Юлией Леонидовной. И открываю в ней все новые неожиданные стороны и интересы»², — так начиналось сближение, о котором после разъезда коктебельских дачников в сентябре 1913 Волошин сообщает Кандаурову, вызывая ревнивое беспокойство друга. Их прогулки и затягивающиеся до поздней ночи разговоры касались самых разнообразных тем, будь то европейская школа эстетики, французский театр, памятники Египта, раскопки на Крите, или танцы Дункан, оккультизм, хиромантия, запахи и многое другое. Потоки стихов — по-русски и по-французски — перемежались со столь же бесконечными речами о живописи, предшественниках и современниках. Конечно, блистая эрудицией, солировал Волошин, но его визави, испытывая жадный интерес к устным штудиям и успевая «проглатывать» рекомендуемые статьи и книги из домашней библиотеки поэта, удивляла «редкой начитанностью» и самостоятельными суждениями.

Поэт жаловался Юлии Леонидовне, что знакомые его не читают и «он не знает своего места в литературе». И даже, если это было не совсем так, в Оболенской он навсегда нашел внимательного и чуткого собеседника, сомысленника, сочувственника. Она могла вести себя независимо или даже чуть дерзко, но никогда не забывала отозваться на присланные стихи, поделится впечатлениями, мыслями и, решаясь на некоторые оценки, доверяла собственному вкусу. В строгом смысле это нельзя назвать критикой или читательским отзывом, вернее — душевной отдачей, той «внутренней волной», что выносит наружу слова и чувства. Они-то и были дороги. Через де-

2011. Фрагменты более поздних писем даются по подготовленной ими копии текстов.

² Максимилиан Волошин. Собрание сочинений. Т. 10. С. 29.

сять лет Волошин напишет: «Я перечитал Ваши письма, Юлия Леонидовна, и мне хочется еще раз Вас поблагодарить за все Ваши замечания о моих стихах. Вы мне больше, чем кто-либо дали ими» (25 декабря 1923)³.

В Петербург гостя уезжает с подарком — его первой книгой стихов, подписанной автором: «Юлии Леонидовне Оболенской память о сентябрьских днях 1913 в Коктебеле Максимилиан Волошин»⁴. Расставшись, они продолжали разговаривать в письмах, возвращаясь ли к сказанному, уточняя услышанное и двигаясь дальше — в поисках духовных истин и постижении друг друга, когда это стремление в обоих было особенно сильно. «Мне жаль теперь, что мы не говорили с Вами о многом другом, что лежит за искусством, но где все его корни»⁵, — сокрушался Волошин в письме от 12 октября и повторял в следующем: «Мы, оказывается, только начали договариваться до главного. И стоило жить вместе 5 месяцев, чтобы заговорить в последнюю неделю (...) Мне надо говорить с Вами о смерти, о радости, о Вас, о себе, о Штейнере и об Индии»⁶.

Поводом для «разговора о смерти» послужили посмертные маски, которые по просьбе Волошина обещала прислать Оболенская из Петербурга. «Хочется иногда смотреть в лицо Смерти. Череп, скелет потеряли для нас смысл „*momento mori*” — в них слишком много монументальной и логической красоты построения. (...) Петр, Достоевский, Пушкин — ведь это вся Россия. Их надо иметь перед собой».

«О радости» означало саму Юлию Леонидовну, а точнее, желание поэта «расколдовать», освободить ее из собственного плена: «Нельзя подарить *цветка*, а только *семя*. Это и в искусстве так». Волошин замечательно почувствовал силу духа

³ Максимилиан Волошин. Собрание сочинений Т. 10. С. 46.

⁴ М. А. Волошин Стихотворения 1900—1910. М., «Гриф», 1910. ГЛМ. № 105142.

⁵ Максимилиан Волошин. Собрание сочинений Т. 10. С. 40.

⁶ Там же. С. 40.

и напряжение, которое несла в себе эта девушка: «Вас точно что-то сильно душевно ушибло. И ушиб не прошел», — пишет он ей, но тут же отмечает, что увидел в натуре ее «необычайно четкий и правильный отвес радости»: «Ваша *радость* была изначально» (21 октября 1913)⁷. Оболенская не сразу принимает такое мнение о себе: «Я выбила свою радость из камня. Какое же отчаяние нужно, чтобы так ее пожелать. Мне странно было, как же Вы не подумали, что радостный от рождения, не говорит о радости, <отому> ч<то> не замечает ее как здоровье. Но я ценю в себе больше радость, мой путь к ней и думаю все о нем. Отсюда мой первоначальный протест. Потом я подумала, что Вы все-таки правы: зерно ее, вероятно, было во мне издавна — раз я пошла именно за нею; ведь вообще она редко кому созвучит — это особенно ясно в музыке — и выбирают ее редко. Я помню, как вы на мои слова о непроникающей в ваши стихи радости ответили: «да, в них нет радости, они горьки». Разве же радость — сладость? Ее вкус неизвестен как имя Бога, а запах — цветущего винограда, она труднее всех вещей и во всех вещах скрыта. Я люблю трудное и выбираю ее. Остальное я проверила постепенно, почти все было удивительно»⁸.

Желая помочь Оболенской преодолеть замкнутость своего внутреннего мира, открыть для него новые сильные источники, Волошин советует ей книги Рудольфа Штейнера. По его рекомендации она знакомится в Петербурге с Е. Дмитриевой, бывает на собраниях антропософов. 30 ноября 1913 в письме Волошину Дмитриева сообщает: «Оболенская была у меня два раза. Я не знаю, было ли ей хорошо со мной. На меня же она произвела глубокое и радостное впечатление»⁹. Для самого поэта антропософия есть «человекопознание — анатомия души и духа, т. е. выявление высшей мудрости, за-

⁷ Максимилиан Волошин. Собрание сочинений Т. 10. С. 46.

⁸ ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 900. Л. 7 об.

⁹ Черубина де Габриак. Из мира уйти неразгаданной. Феодосия — Москва, 2009. С. 69.

ложенной в формы жизни». Но обращаясь к Штейнеру, Волошин очень часто, как он пишет, из слов философа делал совсем другие выводы, нежели антропософы, и это создавало для него известные трудности в общении с ними. Поэтому, несмотря на то, что Оболенская не приняла учения Штейнера, говорить о нем именно с ней поэту было свободнее, чем с ортодоксальными штейнерианцами. Что же касается Дмитриевой, то характеристика: «индивидуальность, заслоненная истиной» из письма Оболенской также видится Волошину верной.

Итак, «избранное» из переписки первого года между Петербургом и Коктебелем:

Ю. Л. Оболенская — М. А. Волошину. [Не позднее 19 октября 1913]. Санкт-Петербург

«Дорогой Максимилиан Александрович, пришлю Вам Петра и Достоевского, когда только узнаю, каково пришлось в дороге Пушкину — в случае повреждения нужно его возобновить и исправить возможные недочеты укладки (...) Глупо все-таки, что я, судя по себе, не решилась послать Достоевского — не люблю проявлений смерти, вот где сладость! Ненавижу гление. Смерть, как добродетель — из тех вещей, о которых нельзя думать и говорить, и принять ее можно только непрерывно глядя в глаза жизни, только о жизни думая — чтоб она была как живопись икон — законченной в любую минуту»¹⁰.

**М. А. Волошин — Ю. Л. Оболенской. 21 октября 1913.
Коктебель**

«(...) О смерти: конечно, о ней надо думать, «непрерывно глядя в глаза жизни». Но ведь наше ощущение жизни и дано нам смертью. Будь мы бессмертны, у нас никогда бы не могло

¹⁰ ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 900. Лл. 7—9.

возникнуть сознания собственного я, ни сознания своего бытия. Мы были бы как драгоценные камни. Смерть пронизала нашу природу ритмом. (Всякий ритм есть умирание и воскресение). Смерть без воскресения невысказима. Этот ритм смерти и воскресения пронизывает все мгновения бытия. И только те мгновения, в которые мы умираем и воскресаем, и есть жизнь. (...) Поэтому смерть — радость. И в этом нет ни капли пафоса самоуничтожения. Это просто любовь к жизни. Кто действительно любит жизнь в ее существовании, тот всегда готов уйти. В любую минуту»¹¹.

Ю. Л. Оболенская — М. А. Волошину. [Не позднее 19 октября 1913]. Санкт-Петербург

«(...) Каждый вызывает близкое себе, наиболее пронзительный лучше разбирается в главном. Этим я утешаюсь — не хочется думать, что я выдумала Вас таким, каким Вы были в сентябре. (...) Я в повседневность не верю, пока буду видеть ночью ключья бездонной жизни над головой. Каждый день — нарождающееся чудо, и наша вина, если он уходит нерастроченным. Мне понравилось, что Вы играете в мысли, значит способны играть вообще, значит лишены груза ложной реальности, что и есть «повседневность». Вас не раздражает моя варварская способность говорить все это в глаза?»¹²

**М. А. Волошин — Ю. Л. Оболенской. 25 октября 1913.
Коктебель**

«(...) Когда слышишь такие слова: «Она труднее всех вещей и во всех вещах скрыта» — это звучит как пароль. Знаешь, что

¹¹ Максимилиан Волошин. Собрание сочинений. Т. 10. С. 45.

¹² ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 900. Л. 8.

далее — открываются целые анфилады совпадений. Потом я еще хотел Вам сказать, как много Вы мне помогли в последнюю неделю. Вы, вероятно, сами этого не знаете. Я за это лето ужасно растерял себя и утратил. И вот тем, что вы так внимательно слушали и так добросовестно перечли все, что я Вам давал из моих писаний, Вы мне дали возможность переглядеть самого себя и собрать растерянное. (Это ответ на Ваше извинение, что Вы все в глаза говорите)».

М. А. Волошин — Ю. Л. Оболенской. 10 ноября 1913.

Коктебель

«(...) Пушкин пришел в полной исправности. Я Вам не написал вероятно потому, что очень волновался. У него удивительное лицо. Я его прописал маслом, слегка стусив тень во впадинах, и он стал поразителен. Очень эду Достоевского и Петра.

Попросите у Лили (Черубины — она тоже Лиля), чтобы она Вам дала «Путь познания Сверхчувственных миров» („L'Initiation“ — во франц<узском> переводе). Я чувствую в Вас внутреннюю любовь к самодисциплине, и Вам эта книга будет важнее всего (...) Штейнер дает именно христианский путь. И что меня всегда поражает глубоко и в его книгах, и в лекциях, — что каждое его слово чувствуешь обращенным лично к себе и всегда о главном. Его дисциплина всегда дисциплина мысли и *понимания*, а не дисциплина чувств и страстей (...) Поговорите об нем подробнее с Лилей (Черуб<иной>). Прочтя «Мистерии христианства», Вы будете уже отчасти в курсе дела. Что отвращает часто от Штейнера людей мистически настроенных, это то, что он всякое чувство и порыв проводит сквозь дисциплину познания. Но это именно меня и привлекает к нему. Он борется против скептицизма и недоверия, но требует здравого критического чувства»¹³.

¹³ Максимилиан Волошин. Собрание сочинений. Т. 10. С. 61.

Ю. Л. Оболенская — М. А. Волошину. 14 ноября 1913.
Санкт-Петербург

«(...) Вы так просто ответили мне о том, что можно дать другому; очень Вас благодарю. Мне как раз сейчас было нестерпимо знать, что именно ценности, найденные мной, необходимы другому человеку — и я отдала бы их, осталась пустой и началась сначала — но ведь этого нельзя, слова недействительны. (...) Штейнера до с<их> п<ор> не прочла — когда нахожу сама, не могу принять чужих слов».¹⁴

М. А. Волошин — Ю. Л. Оболенской. 7 декабря 1913.
Коктебель

«(...) Я кажется вчера еще не успел сказать о смерти... Да, вот. Все по поводу лица Достоевского и Вашего отношения «принципиального» к смерти. Принимаете ли Вы воскресение „во плоти“? В этом ведь весь смысл существования человека на земле. Конечно, нельзя считаться с Леонидом Андреевым — но меня глубоко оскорбил в свое время „Елеазар“. Ведь мы должны просветить, одухотворить плоть, т. е. тот поток материи, который проходит через нас. Все приходящее — *собою* сделать вечным и спасти от разрушения. Именно то, что на Суд мы предстанем со всею тою материей, что прошла сквозь нас. И вот Штейнер прекрасно отвечает на это. (...) Получили ли С. Виктора?»¹⁵

Отклик Волошина на рассказ Л. Андреева «Елеазар», где тема воскресения осмыслена в кругу произведений мирового искусства, вероятно, был знаком Оболенской — в Коктебеле поэт давал ей читать свои статьи в газете «Русь».

Только что вышедший перевод книги Поля де Сен-Виктора «Боги и люди» он посылает ей со словами: «Милой Юлии

¹⁴ ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 900. Л. 15.

¹⁵ Максимилиан Волошин. Собрание сочинений. Т. 10. С. 86.

Леонидовне, эта книга напомнила все мое лето 1912 года. Хотя она только перевод, но в ней есть много и моего. Примите ее. Максимилиан Волошин»¹⁶.

Французского критика и эссеиста, рафинированного эста, созерцателя картин и статуй, поэт называл «Дон Жуаном фразы». «Писатель по преимуществу изысканный и замкнутый, в котором смешаны классицизм с эстетством, собиратель редкостей, кузнец драгоценных слов и фраз, всем своим существом протестующий против современности и ненавидящий „злобу дня“»... Не зеркало ли он для Волошина?

Оболенская не могла не уловить «лунную тему», присутствующую в очерке Сен-Виктора «Диана де Пуатье» и отраженную в венках сонетов Волошина «Lunaria» и «Corona astralis» — ее летнее подношение поэту было сплетено из тех же блуждающих лучей. И все же ее восприятие Сен-Виктора не слишком совпало с волошинским: за изысканностью фраз ей не хватало ... мысли. Но перевод — как вживание, вчувствование, нахождение возможно более точной словесной формы для сказанного другим — почти всегда умножает смыслы, а потому само строение фразы уже и есть выражение ее мысли. И дарение себя в образе другого.

Очень близким — из многих — был Волошину и еще один француз — поэт и прозаик Анри де Ренье, современник, о котором он не раз писал, переводил, упоминал в своих статьях об искусстве и поэзии. Творчество де Ренье поэт считал органическим сплавом Парнаса с символизмом, а самого писателя относил к числу светлых, гармоничных личностей — «пушкинского, рафаэлевского типа». Зная литературные пристрастия Оболенской, хорошо чувствуя ее, как художника, он посылает ей только что вышедший свой перевод, «представ» в образе романтического героя.

«Утром получила книжку шедевров Максимилиана Александровича — «Маркиз д'Амеркер», — сообщала Юлия Лео-

¹⁶ П. де Сен-Виктор. Боги и люди. Перевод М. Волошина. М., 1914. ГЛМ № 105122.

нидовна Кандаурову 15 марта 1914. И в этом случае дарение означало доверие, приятие, влечение (со всеми возможными к слову приставками).

Любопытно, что об аналогичном подарке 1911 года — романе того же автора «Встречи господина де Брео» — вспоминала и Цветаева: «Макс всегда был под ударом какого-нибудь писателя, с которым уже тогда, живым или мертвым, ни на миг не расставался и которого внушал — всем. В данный час его жизни этим живым или мертвым был Анри де Ренье, которого он мне с первой встречи и подарил — как самое дорогое, очередное самое дорогое»¹⁷.

На присланной в Петербург книге стояло: «Приезжайте в Коктебель, Юлия Леонидовна. Максимилиан Волошин 1914. 11\Ш»¹⁸. Художница появится там в самом начале мая и ей будет вручена еще одна книга-пароль — французский перевод Новалиса, брюссельское издание 1895 года с надписью: «Юлии Леонидовне Оболенской 18 мая 1914 года Коктебель»¹⁹.

«Не смей увлекать поэтов», — шуточно грозил Кандауров Оболенской перед ее отъездом, скрывая за этим вполне серьезные опасения: «Боюсь, что ты меня разлюбишь, и я останусь опять один со своими думами»²⁰. Тревожился, понимая, какое сильное эмоциональное и интеллектуальное влияние оказывает Волошин на его возлюбленную. И даже пытался тому воспрепятствовать, своим волнением явно сгущая краски в портрете друга: «Относительно Макса могу сказать, что он при всей своей доброте и без всякого желания сделать зло — делает много зла всем около него. Я много знаю примеров. Он

¹⁷ Цветаева М. И. Живое о живом / Собрание сочинений в 7-ми тт. Москва, 1994. Т. 4. С. 168. См. эл. публикацию книги:

<http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=2635>

¹⁸ Ренье Анри. Маркиз Д'Амеркер. Перев. М. Волошина. М., «Альциона», 1914. ГЛМ № 105123.

¹⁹ Новалис. Ученики в Саисе и фрагменты из Новалиса, переведенные с немецкого и снабженные предисловием Мориса Метерлинка. 2-е изд. Брюссель, 1895. ГЛМ. № 105166.

²⁰ ОР ГТГ. Ф. 5. Д. 207. Л. 2..

умный, добрый, хороший и все же страшно жестокий человек, т. к. жизни не знает — идет мимо и все судит не сердцем, тем, что взято из книг. Он много себе подготовлял женщин рабынь своего духа и тела, но все скоро проходило, и все женщины оказывались разбитыми надолго. По этому поводу скажу много при свидании. Вот один из примеров моего страха за тебя, моя голубка»²¹.

Страхи скоро рассеются. Юлия Леонидовна, посвятив Волошина в свою тайну, устранил явные или неявные намеки и противоречия и станет самостоятельным и важным звеном в отношениях друзей, а ее письма многие годы по-настоящему будут сохранять и длить эту дружбу. Помня о «ревности» Кандаурова, она возьмет за правило сообщать ему о полученной корреспонденции. Но, передавая ее содержание, перекрестного цитирования избегала, дорожа личной интонацией, найденной для каждого из своих адресатов.

*Ю. Л. Оболенская — К. В. Кандаурову. [2] мая 1914.
Коктебель*

«(...) В Феодосии меня встретили Максимилиан Александрович и Константин Федорович. Я хотела обругать Вас за то, что беспокоили Конст<антина> Фед<оровича>, но так обрадовалась, увидев его, что не могу браниться. С вокзала проехали к Богаевским, а потом Макс<имилиан> Ал<ександрович> до 10 час<ов> водил меня по Феодосии: в карантин, в слободку, в музей и т. п. В 10 час<ов> привел к Александре Михайловне и оставил с ней, потом пришли Марина Ив<ановна> и Сережа Эфр<он> и Конст<антин> Федорович забрал всех к себе обедать. Был удивительный день жаркий и прозрачный, совершенно безоблачный. Часов в 5 или в 6 поехали в Коктебель»²².

²¹ Там же.

²² ОР ГТГ. Ф. 5. Д. 979. Л. 1 об.

*Ю. Л. Оболенская — К. В. Кандаурову. Первая неделя мая.
1914*

«(...) Уговаривались на этюды ходить вместе с М<аксими-
лианом> Ал<ександровичем>, но, кажется, мне придется отде-
литься, что-то меня при таких условиях связывает»²³.

*К. В. Кандауров — Ю. Д. Оболенской. Москва. 6 мая 1914.
Москва*

«(...) Ты там не смей увлекаться и увлекать, т. к. я тебя не
уступлю — ты моя и я твой. Не уступлю!»²⁴

Романтическая настроенность «серебряного века» в иное
время может показаться чрезмерной, или даже искусствен-
ной, литературной. И все же эти влюбленные в искусство «веч-
ные юноши» действительно хранили в себе высокий строй
души, а потому могли встать под пистолет из-за женщины,
сходить с ума от любви или рыдать от счастья: «Твое письмо,
написанное кровью, я хотел вынести на площадь и читать всем
людям, чтобы они остановились и поняли настоящую жизнь.
Ты не сердчай на меня, дорогая. Я не в силах нести на себе такое
счастье, счастье исключительное, счастье, выпадающее на
долю редких, только избранных Богом. Я дал прочесть письмо
Котику Богаевскому и он разрыдался как мальчик... еле про-
изнеся слова, поздравляя меня, говоря: ты счастливый и не от-
талкивай благодать Бога!»²⁵

Волошин, уехавший за границу после разгоревшегося в его
доме «пожара сердец», вел себя сдержаннее («Могу только
в глубине души молиться о Вас и Константине Васильев<иче>»),
но глубоко сочувствуя Юлии Леонидовне, был уверен: «любовь
вне собственности», «любить человека — делать его свобод-
ным». Иначе, но ситуация любви как несвободы, проецирова-

²³ ОР ГТГ. Ф. 5. Д. 980. Лл.1 об.—2.

²⁴ ОР ГТГ. Ф. 5. Д. 238. Л. 1.

²⁵ ОР ГТГ. Ф. 5. Д. 255. Л. 2.

лась и на домашние обстоятельства самого поэта. «Я не знаю, как быть. Чувствую, что так жить совсем нельзя, нельзя доводить отношений до таких кризисов. [...] А издали думать о маме бесконечно грустно», — писал он Оболенской в ноябре 1914.

«Получила вчера длинное письмо от Макс<имилиана> Ал<ександровича>, — тут же рассказывала Оболенская Кандарову, — он пишет, что чувствует угрызения совести, узнав, что ты ждал его приезда, но говорит, что у него сознание бессилия помочь еще с лета. В Париж же едет, разве к весне. Живопись тянет его все сильнее, а книга все затягивается, т<ак> к<ак> видимо углубляются его взгляды на эти вещи отчасти под влиянием Штейнера, а кроме того выразительность слова покидает его взамен нахлынувшей живописи. В связи с этим его тревожит мысль о матери и он просит меня разрешить этот вопрос их отношений — Боже, что я могу! Я все вижу, правда, слишком ясно и люблю обоих, но разве людей переменишь? Он много пишет о России, войне, о постройке и т. п. Много верного и тонкого. Мне жаль терять в нем «литератора»; как живописец он возможен, но сколько труда впереди! А характер его мысли так роднит меня с ним. Неужели это уйдет?»²⁶

С Еленой Оттобальдовной, которая была весьма расположена к художнице, ценя в ней сочетание интеллекта, эмоциональной глубины с петербургской сдержанностью, у Оболенской были свои отношения и обмен письмами. Вообще, Юлии Леонидовне принадлежал особая роль — миротворицы — в отношениях Волошина с матерью. Она умела выслушать, тактично реагировать на острые ситуации, пытаясь смягчить их, а в письмах очень часто оказывалась посредницей между матерью и сыном, сообщая то, что им хотелось знать друг о друге, что стояло за их ссорами и обидами. «Большое спасибо за все то, что Вы пишете мне о Пра и о ее отношении ко мне», — отзывался Волошин. — (...) Я прекрасно знаю, что эта строгость и требовательность от любви. Но это так тяжело и так часто убивает в корне порыв к работе».

²⁶ ОР ГТГ. Ф. 5. Д. 1105. Л. 2.

Оболенская это понимала, оставаясь органичной и абсолютно искренней, в сочувствии своем никогда не фальшивила, поддерживая одного, не переставала любить другого.

Умение «дать себя», раскрываясь навстречу другому, преобразуя его расположением ли, любовью, талант редкий. «У Вас был непосредственный интерес к человеку. Вы дали в своей душе отпечататься оттиску его лика обобщенному, облагороженному, но верному, — писал Оболенской Волошин, называя такое принятие человека ради него, а не ради себя, одной из величайших услуг, которые можно оказать. И добавлял: «Я эту способность очень ценю, б<ыть> м<ожет> потому, что у меня ее мало. Мне все кажется, что словами и теориями можно больше дать. И знаю, что не так, а ничего не выходит. Знаете, как важно положить себя как бы на сохранение в душу другого человека. И знать, что никакая рябь жизненных событий на том лице не отразится. Вот Ваш глаз видит человека обще, реально и благородно. За это к Вам и идут»²⁷. Так оно и было.

JULIA FECIT

Вечера и дожди проводим с Пра, Максом и Ходасевичем. Ходасевич вчера к общему изумлению в ответ на какие-то шутки выпалил мне — «предсказываю, что Вы в меня влюбитесь» — и сам точно горячего хлебнул. Пра никак этого не может забыть.

*Ю. Л. Оболенская — К. В. Кандаурову
10 августа 1916*

«Не смей увлекать поэтов!» Увлекала и улекалась...

В 1916-м Оболенская провела в Коктебеле два с половиной месяца. Это было счастливое лето среди любящих ее людей и в обществе поэтов, которое она не могла не оценить. Ореол

²⁷ Максимилиан Волошин. Собрание сочинений. Т. 10. С. 60.

романтической героини делал и ее притягательной, особенной. Свою гостью братски опекал Волошин, Ходасевич, впервые попавший в это лето в Коктебель и очень скоро переселившийся в дом поэта, постоянно обменивался с ней остроумными репликами, и наоборот, вспыльчивый и неуживчивый Мандельштам успокаивался в присутствии внимательной к нему барышни. О нем она пишет в августовском письме к Магде Нахман, рассказывая о поездке большой группы коктебельцев в Феодосию на вечер, в котором принимали участие поэты, музыканты, чтецы, а его оформлением занимались художники: «Везли нас в Феодосию на каретах автомобилях, а нам с М<аксимилианом> Ал<ександровичем> и Мандельштамом достался автобус, где мы на империале тряслись в обществе урядника, стигая головы под телеграфной проволокой. Макс<имилиан> Ал<ександрович> импровизировал:

Так высоко поставлен
Что мигом обезглавлен
Как крокодил
Он проволокой был...

Каждую минуту останавливались и <автобус> долго бессмысленно шипел. Наконец сломались, растеряв тормоза, и были подобраны переполненным артистами автомобилем. Макса поставили на подножку, а я сидела над рулем на одной ноге, да и той мандельштамовой (...) В Феодосии мы с Мандельштамом носились в поисках парикмахера. Он нанял извозчика и останавливал всех проходивших мужиков, спрашивая, где дамский зал. Наконец измученную меня провели через какой-то увешенный бельем дворик, по-моему, в прачечную, т<ак> к<ак> растрепанная баба схватила пloyку вместо щипцов и принялась завивать меня перед мутным осколком зеркала, мелким барашком. Гребень был в 5 зубов. Мандельштам пришел и ахнул; упал духом. „Теперь я знаю, кто «они», перед кем читать придется“. [...] Мандельштама действительно освистали — 3 раза повторял одно место под хохот публики: „я с ними проходил 3 раза то, что им было непонят-

но”, говорил он. Макс имел большой успех, а Ходасевичу и Масалитинову, на бис читавшему Пушкина, кричали: „довольно этих мандельштамов”. После концерта был ужин в саду и домой вернулись автомобилем на рассвете. Много было всяких курьезов. Теперь Мандельштамы уехали, их вызвали: умерла их мать. Младшие братья славные мальчишки, а О<сип> Э<милевич> замечательный поэт. Его чтение — последняя степень искренности — это танец каждого слова, в каждом слове участвует он всем своим телом. Это тело совсем хрупкая глиняная оболочка, существующая только для того, чтобы выпущенный огонь был чем-нибудь сдержан — „в кувшинах спрятанный огонь”»²⁸ (строка из стихотворения О. Мандельштама, написанного в апреле 1916 «О, этот воздух, смутой пьяный...»).

Вечер, устроенный 18 июля начальником феодосийского торгового порта А. Новинским в Городском саду, запомнился многим участникам, сообщали о нем и местные газеты. В описании Юлии Леонидовны событие превращается в сюжет, отчего ее рассказ становится непосредственным и живым, не теряя при этом глубины и чуткости восприятия.

О Мандельштаме она пишет с тем же благородным и благодарным чувством, подмечая особенную хрупкость, незащищенность его таланта. Тем более, что в быту он был слишком чувствителен и уязвим, неизбежно попадая в нелепые ситуации и слывя, по язвительной характеристике Ходасевича, «помешанцем всекоктебельским».

Отношения поэтов едва ли можно назвать приятельскими или даже приятными. Ходасевич, если не избегал, то сторонился Мандельштама, иронически отзывался о нем в письмах жене и друзьям. Тот, в свою очередь, вряд ли забыл ходасевичевскую рецензию на второе издание «Камня», появившуюся полгода назад: «...маска петроградского сноба слишком скрывает лицо поэта; его отлично сделанные стихи становятся досадно комическими, когда за их „прекрасными” словами

²⁸ РГАЛИ. Ф. 2080. Оп. 1. Ед. хр. 7. Лл. 18 об. — 21.

кроется глубоко ничтожное содержание»²⁹. Но добродушие хозяина ситуацию смягчало; как поэтов Волошин высоко ставил их обоих, уравнивая поэтическое трезвучие устойчивым тоном собственного голоса.

С Владиславом Ходасевичем, человеком острого, насмешливого ума, Оболенская подружилась быстро и легко — это был взаимный интерес с первого взгляда; их объединило чувство юмора, шутливая пикировка и, конечно, Пушкин — общая любовь, в которой состязались, дразня друг друга. Не отставал и Волошин: так возникло содружество, где присутствовали смех, интеллектуально-непринужденная игра, возможная даже не среди единомышленников, а среди людей, заряженных одной энергией, когда легко возникает общий контекст, включающий природу, быт, литературу и непосредственное общение.

В августовских письмах к Кандаурову Оболенская сообщает, что помогает Волошину в его работе над книгой о Сурикове — пишет под его диктовку: «мне очень приятно быть ему полезной, хоть в пустяках»³⁰. Упоминая о забавных эпизодах, рассказывает, как они с Ходасевичем поддразнивают Волошину: «(...) иногда мы начинаем критиковать рисунок, а потом переходим на Максина портрет в купе и долго разбираем его, пока М<акс> из-за рисунка не кричит: „Долго вы тут будете мне кости перемывать?“ У Макса тоже хворь и он жалуется, что „живот в голову бросается“. Мы стараемся представить себе это пластически, черт знает, что выходит»³¹. Порой роли менялись: «Вечера теперь проводим впятером: Волошины, Ходасевичи и я. Мы с Макс<имилианом> Ал<ександровичем> морочим их, подкидываем в комнату разную ерунду, они ничего не понимают [...]»³²

²⁹ О. Мандельштам. Камень. Л., 1990. С. 219. См. эл. публикацию книги: <http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=3113>

³⁰ ОР ГТГ. Ф. 5. Д. 1284. Л. 2.

³¹ ОР ГТГ. Ф. 5. Д. 1285. Л. 1 об.

³² ОР ГТГ. Ф. 5. Д. 1288. Л. 1 об.

В архиве Оболенской остался шуточный диплом, выданный ей Ходасевичем и Волошиным перед отъездом 20 августа 1916, где на листе большого формата в юмористической манере изложено восхищение талантами Юлии Леонидовны. Начинался он так:

«Дорогая Юлинька!

Сегодня, в горестный день твоего отъезда, мы, считающие себя твоими ближайшими друзьями, не можем не обратиться к тебе с несколькими словами приветия. Без тебя будет нам очень грустно. Быть может, кружок наш, который ты так прекрасно объединяла, распадется совсем. Ты помогала нам словом и делом. Ты направляла деятельность нашего общества. Скажем прямо: ты была нашим духовным вождем. В тебе соединились все качества, отличающие каждого из нас в отдельности. Талантливая, как Щекотихин; начитанная, как Вислоухов, изящная, как Марат-в-ванне, деятельная, как Юра Гусиная Лапа; проворная, как Пудель, задумчивая, как Зайцепес, отважная, как Капар; стройная, как Мария Павловна; красноречивая, как Бабушка Синопли; воспитанная, как г-жа Княжевич; обольстительная, как Джафар; кокетливая, как Елена Юрченко, ты, тринадцатая, объединившая нас, — была, можно сказать, маленьким Мюром и Мерилизом Добродетелей. Это звание мы и просим тебя принять. До свидания! Пиши! Счастливый путь!»

Далее, после даты, следовали реальные и сымитированные подписи перечисленных лиц и нарисованный след звериной лапы. Через двадцать лет, 20 февраля 1936 Оболенская прокомментировала текст:

«Щекотихин, Вислоухов — личности, вымышленные Ходасевичем

„Марат в ванне“ — старушка-певица в Коктебеле

Юра Гуиная Лапа — молодой человек, грек

Пудель и Зайцепес — вымышленные демонические существа

Мария Павловна Цефракова — хозяйка столовой (мать Юры)

Синопли — владельцы лавочки

Г-жа Княжевич — жена писателя Арцыбашева

Капер — лодочник-турок

Джафар — извозчик

Елена Юрченко — горничная».³³

Кажется, память подвела ее только в отношении студента Шекотихина, который действительно приезжал в августе к Волошину.

Диплом передает настроение лета, атмосферы волошинского дома, нежное и чуть лукавое отношение к героине, в котором признаются оба поэта.

В том же — шутовском — формате исполнены два рисунка из архива Оболенской, которые сохраняли интригу розыгрыша, но трудно поддавались разгадке. Из-за отсутствия датировок и сомнений в авторстве они долгое время существовали только как архивные единицы: вне литературного и событийного контекста, смысл рисунков не раскрывался и был не совсем ясен. Казалось, ключ утерян, но... дверь была не заперта.

Итак, на одном из рисунков, названном «Портреты поэтов»³⁴, по точным, хотя и шаржированным портретным характеристикам легко узнаются: Волошин, Ходасевич и Мандельштам. Их профили, выступающие друг из-за друга, выполнены на фоне коктебельского пейзажа, замкнутого в овал.

Внизу справа подпись на латыни карандашом: «JULIA FECIT» (сделано, исполнено Юлией) и нам понятно, о ком идет речь. Дата устанавливается тоже достаточно легко: акварель бесспорно относится к лету 1916, когда трое поэтов составили яркое созвездие гостей Коктебеля, участвуя в домашних вечерах и благотворительных концертах, апофеозом которых стало упомянутое выступление в Феодосии.

³³ РГАЛИ. Ф. 2080. Оп. 1. Ед. хр. 67. Лл. 1—2.

³⁴ РГАЛИ. Ф. 2080. Оп. 1. Ед. хр. 403. Л. 26.



Но с изображенной на рисунке поэтической триадой могли резонировать и другие биографические и литературно-художественные обстоятельства или совпадения, подсвеченные шутилой аналогией. Например то, что Ходасевич, занимаясь переводами с польского (польский язык для него — родной, а по семейному преданию его предки состояли в родстве в Мицкевичем), готовил в это время книгу переводов Адама Мицкевича для Издательства Сабашниковых; «Крымские сонеты» в его поле зрения входили. Равно как и два других польских поэта, Красинский и Словацкий, о которых Ходасевич, хотя и высказывался порой критически, но всякий раз подчеркивал их значение для польской и мировой литературы. Припомним и то, что Мандельштам родился в Варшаве, а у Волошина в доме находилась авторская копия собственного

скульптурного портрета, установленного в Париже: бюст был выполнен польским скульптором Эдвардом Виттигом. «...Поэтов в Польше ровным счетом три»...

Но более поздняя надпись на обороте рисунка гласит: «Шуточный рисунок Волошина М. А. (к переписке М. Ф. Ходасевича с Ю. Оболенской) [...]».

Если ей следовать, то перед нами шуточная иллюстрация к тексту некоего письма или писем, который обсуждался или общувивался вслух, и тогда перед нами еще одна, на сей раз художественная мистификация Волошина, пародирующая живописную манеру Оболенской, розыгрыш, в котором осуществлен перевод с вербального на визуальный. Но так ли это? И о какой переписке идет речь?

Прежде, чем ответить на эти вопросы, попытаемся понять изображение, осуществляя обратный перевод — с визуального на вербальный.

Перед нами три профиля, показанные в некоторой иерархии: волошинский, уже осмысленный как нечто монументальное («И на скале, замкнувшей зыбь залива, / Судьбой и ветрами изваян профиль мой» — стихотворение еще не написано, а на рисунке это уже есть), и два других, создающих его пространственное «эхо», будто примеривающиеся в качестве завершения «каменной глыбы Карадага». За подписью Волошина такой замысел выглядел бы не слишком уместным по отношению к себе и своим гостям — пафос и чувство юмора вещи взаимоисключающие, но ведь «автор» — Оболенская и для нее подобный взгляд на поэтический Олимп вполне приемлем. Изображения не равнозначны и по степени шаржированности: выпячивающий грудь Мандельштам, помещенный на первый план, выглядит самым смешным. «Пыжится. Выкурил все мои папиросы. Ущемлен и узвлён»³⁵. Помимо этой характеристики, художник, вероятно, знаком и с рецензией Ходасевича, поскольку профиль Мандельштама скрыт глубоко надвинутой панамой («маска сноба»). И, тем не менее, эти

³⁵ Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений в 4 тт. Т. 4. М., 1997. С. 404.

трое составляют возвышенное единство поэтического над обыденным.



На втором, выполненном тушью рисунке «Епископ Гаттон и мыши»³⁶ Ходасевич, хотя и не назван, узнается вполне определенно. Автор «Счастливого домика» (1914) изображен в образе католического священника, окруженного хороводом мышей. За его спиной извивается лента-свиток с надписью: «Этот мир любить не перестану» — строка из стихотворения поэта «Рай». На конце ленты над головой Гаттона-Ходасевича изображена летучая мышь: стихи и инсценировки поэта для балиевского театра «Летучая мышь» пользовались успехом.

Мышиные стихи — одна из тем второго сборника Ходасевича, возникшая из домашней шуточной игры, в которой его жена Анна Ивановна исполняла роль мыши-бараночника,

³⁶ РГАЛИ. Ф. 2080. Оп. 1. Ед. хр. 403. Л. 27.

«сырником» звался приятель Владислава Фелициановича, а у него самого было другое звериное прозвище — Медведя. В мышинном семействе были также Книжник, Свечник-поэт, Ветчинник. Игра подпитывалась как реальными, так и книжными сюжетами, вроде поэмы Жуковского «Война мышей и лягушек». Очевидно, стихи и мышинные забавы четы Ходасевичей и послужили поводом для шуточного рисунка за подписью «Julia fecit».

«В быстром убегающем движении маленького серого зверька греки видели подобие вещего, ускользящего и неуловимого мгновения, тонкой трещины, всегда грозящей нарушить аполлиническое сновидение, которое в то же время лишь благодаря ей может быть создано», — статья Волошина «Аполлон и мышь», похоже, тоже помнилась нашим героям, равно как и ключевые для нее пушкинские строки: «Парки бабье лепетанье... жизни мышья беготня...»

Епископ Гаттон — герой баллады В. Жуковского «Суд Божий над епископом», в котором жестокий священник обманом расправился с толпой нищих и голодных и был за то наказан: съеден мышами, настигшими его в неприступной башне. Иное на рисунке — его сюжет вполне миролюбив и кажется приведенным в соответствие с мышинными стихами Ходасевича: «Я с последней мышью полевою / Вечно брат. Чужда для нас война...» и далее:

За Россию в день великой битвы
К небу возношу неслышный стих:
Может быть, мышинные молитвы
Господу любезнее других...

Кстати, эти стихи не вошли в сборник, но публиковались в «Аполлоне» (1914, № 10) и вполне могли быть слышаны в исполнении самого поэта. Понятен и выбор внесенной в рисунок строки из стихотворения «Рай», лирический герой которого — владелец магазина игрушек: у Юлии Леонидовны к этому времени сделан свой цикл картин под таким же названием и тоже с игрушками. И хотя на левой руке персонажа

висит табличка с латинской надписью «Julia Oboleniensis», с авторством та же загадка: подпись «julia fecit» внизу справа (уже и лишняя, поскольку имя есть на табличке) и комментарий, отсылающий к Волошину — на обороте.

Смысловая и литературная нагруженность, сюжетность рисунков еще раз подчеркивают интеллектуальный характер летних развлечений: их участники владеют общим кодом и, развлекая друг друга, графически «цитируют» то, что на слуху, что хорошо знают.

Поэтому Михаил Фелицанович, старший брат поэта, адвокат и коллекционер, с которым на тот момент Оболенская, если и знакома, то очень отдаленно для подобного рода игры, здесь не при чем. Поскольку и никаких следов переписки с ним в архиве нет, то можно допустить, что в надписи на обороте первый инициал мог быть поставлен ошибочно. А вот шуточные письма самого Владислава Фелициановича сохранились и, на наш взгляд, гораздо лучше проясняют обстоятельства появления рисунков.

После отъезда Оболенской из Коктебеля между нею и Ходасевичем завязалась игра в письмах: они условились считать, что уехала не Юлия Леонидовна, а Анна Ивановна, поэтому Ходасевич обращается к «жене», рассказывая о проделках сумасбродной художницы: «Милая Нюра! Вот уже второй день я без тебя. Очень соскучился, — особенно надоела мне Юлия Леонидовна. И зачем ты с ней поменялась! Не надо было. Она по-прежнему нестерпима. Злиться все время: ревнует меня к каждой девушке. Просто сил нет. В Коктебеле неладно: стали пропадать вещи. Это, конечно, ее рук дело. Еще до твоего приезда я это за ней замечал: у меня — деньги, книги, 2 носовых платка, у Пра — сахар, у М. А. — краски. Она ругает меня за то, что я допустил вашу мену. Говорит, что ждал с нетерпением ее отъезда — и вот на тебе: застряла. Ну, довольно: такая особа не стоит того, чтобы о ней долго разговаривать. [...] Спасибо за открытку. Ю. Л., конечно, отняла ее и разорвала, ибо взревновала меня к *нарисованным купальщицам* (выделено мной — Л. А.). Ну, ты знаешь ее стиль, — поймешь, что было.

Если увидишь Екатерину Иванову, поклонись ей от меня, но ничего не говори про дочку. Не надо ее лишний раз огорчать. Она все сама знает. Нельзя не преклоняться перед ее молчаливым страданием. Будь здорова. Целую крепко. Твой Владислав»³⁷. Письмо написано на следующий день после отъезда Оболенской — 21 августа, а значит, именно Ходасевича следует признать настоящим инициатором мистификации. Во втором своем письме (2 сентября) он в том же «дурашном тоне» описывает похождения вымышленной Юлии, которая ходит в штанах и босиком с мочалом вместо волос и занимается мазней, воруя краски: «Ю. Л. получила от Кандаурова (есть такой испитой чиновник) просьбы прислать картины для Мира Искусства. Рада до неприличия. Бегала хвастаться к князю Орбелиани. Они очень спелись здесь. Что-то мажет. Вероятно, на днях пошлет [...]»³⁸

Остается только сожалеть, что ответные послания «Нюры»-Оболенской до нас не дошли — остроумия Юлии Леонидовне было не занимать. Похоже, что рисунки за подписью «*julia fecit*» и были приложением к переписке, о которой она помнила. Мог ли их автором быть Волошин? Такой художественный кундштюк, «игра в черубину», вполне в его духе и в пазл летних игр шестнадцатого года, конечно, вписывается. Но только ли он? Экспертизы еще нужны: некоторые сомнения, касающиеся стилистики рисунков, все же остаются. Но пока сохраним авторство за Волошиным — не доверять Оболенской мы не вправе.

В отличие от неопознанного прежде Ходасевича-Гаттона, более известно еще одно шутливое изображение поэта, на сей раз действительно исполненное Юлией Леонидовной и тоже не без некоторой доли мистификации — уже при других обстоятельствах времени и места, но о нем речь впереди.

³⁷ РГАЛИ. Ф. 2080. Оп. 1. Ед. хр. 67. Лл. 3—4.

³⁸ РГАЛИ. Ф. 2080. Оп. 1. Ед. хр. 67. Л. 6 об.